

Культурное освоение территории не менее важно, чем военное, административное, экономическое.

Рискну предположить, что Аляска так по-настоящему и не приросла к России именно потому, что мы не успели прописать ее в литературе, переплавить в мелодии, строки и образы.

Камчатке и Чукотке повезло больше. Не успев физически добраться до тихоокеанских пределов Российской империи, Пушкин все-таки наметил восточную тропу нашей словесности, которую позже торили и обновляли, дабы она не заросла, Гончаров, сошедший на охотоморский берег с фрегата «Паллада», Чехов, отправившийся на каторжный Сахалин, и другие разнокалиберные литераторы вплоть до наших современников.

Разумеется, Пушкин не был в этой теме первым. Зачинателем «дальневосточного текста» с некоторой натяжкой можно назвать протопопа Аввакума — диссидента, публициста, мученика, которого Андрей Битов назвал первым постмодернистом. Аввакум с отрядом воеводы Афанасия Пашкова достиг забайкальских истоков Амура, после чего написал в 1672 году свое знаменитое «Житие...». Именно к Забайкалью относится знаменитый диалог Аввакума с супругой: «Я пришел, — на меня, бедная, пеняет, говоря: “долго ли муки сея, протопоп, будет?” И я говорю: “Марковна, до самыя смерти!” Она же, вздохня, отвечала: “добро, Петровичь, ино еще побредем”».

В XVIII веке на восток смотрел дальновидный Ломоносов, написавший в «Оде на день восшествия на

всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»:

...Мы дар твой до небес прославим
И знак щедрот твоих поставим,
Где солнца восход и где Амур
В зеленых берегах крутится,
Желая паки возвратиться
В твою державу от Манжур.

<...>

Там влажный флота путь белеет,
И море тщится уступить:
Колумб российский через воды
Спешит в неведомы народы
Твои щедроты возвестить.

Речь здесь идет о необходимости пересмотреть Нерчинский договор 1689 года, чтобы утвердить российскую принадлежность Приамурья и Приморья. Мечта Ломоносова сбылась в 1858–1860 годах с заключением Айгунского и Пекинского договоров.

В XIX веке дело Аввакума продолжил другой ссыльный — декабрист Александр Бестужев-Марлинский, живший в 1827–1829 годах в Якутии и написавший «Сибирские рассказы» (ими зачитывался Пушкин) и балладу «Саатырь», в которой объединил таежные предания якутов с европейской романтической мистикой. Десятилетия спустя в якутской тайге — тоже не по своей воле — окажутся писатели Николай Чернышевский и Владимир Короленко, этнограф и прозаик Вацлав Серошевский, произведения которого позже будут вдохновлять режиссера Алексея Балабанова. Русская дальневосточная литература росла из травелогов, отчетов, монографий — записок географов, офицеров, купцов, священнослужителей...

Наряду с ними Пушкин принял самое прямое участие в освоении Дальнего Востока, в превращении далеких окраин в полноценную часть империи, связанную с ее центром общей кровеносной и нервной системой.

Знаменитую формулировку Аполлона Григорьева, назвавшего Пушкина «нашим всем», можно понимать так: Пушкин — матрица, содержащая коды всей предшествовавшей и наследующей ему отечественной литературы.

Если попытаться выделить из этого генетического кристалла главные силовые линии, относящиеся к событиям национальной истории, то мы окажемся перед тремя большими темами: Петровские реформы, пугачевское восстание и освоение дальневосточных земель.

Можно сказать, что это главные русские идеи вообще — идея самодержавной государственности (вплоть до деспотии), идея беспредельной свободы (вплоть до бунта) и идея бесконечного территориального расширения (вплоть до Америки и космоса).

Но если отношение Пушкина к Петру I и Пугачеву отражено в целом ряде его поэтических, прозаических и исторических сочинений, то тема «Пушкин и Дальний Восток» остается малоисследованной — как по причине периферийности Дальнего Востока на карте России и в сознании столичных литературоведов, так и в силу того, что по-настоящему заняться соответствующей проблематикой Пушкин, к сожалению, не успел. Он лишь обозначил это направление в нескольких незавершенных набросках, сделанных в последние месяцы и даже последние дни его жизни.

Как Первая Камчатская экспедиция Витуса Беринга, снаряженная в 1725 году, стала своего рода завещанием Петра I (который, как видим, был вовсе не только западником), так невольным литературным завещанием Пушкина стали его записки о Камчатке.

К дальневосточным наброскам Пушкина относят три фрагмента: «О Камчатке», «Камчатские дела (от 1694 до 1740 года)» и, наконец, «Наброски начала статьи о Камчатке». Все они сделаны поэтом при чтении «Описания земли Камчатки» Степана Крашенинникова и в значительной степени представляют собой конспект этого труда. Степан Петрович Крашенинников (1711–1755) — ботаник, географ, этнограф; он исследовал Сибирь и Дальний Восток России в 1733–1743 годах, проехав и пройдя свыше 25 тысяч верст. Его труд «Описание земли Камчатки», впервые вышедший в 1755 году (вскоре после смерти автора), через считанные годы стал международным бестселлером. Эта объемная книга, которую нередко называют первой русской академической монографией, — фактически первое сочинение о российском Дальнем Востоке, имевшее широкий успех.

На одной из своих «камчатских» рукописей Пушкин поставил дату — 20 января 1837 года. «Семь дней до дуэли, девять дней до смерти! ...Разгар трудов над четвертым томом «Современника», твердое намерение писать новые главы для «Истории Пугачева», на столе груды материалов по истории Петра; денежный долг давно перевалил за сто тысяч, ненависть и презрение к Геккерну, Дантесу отравляют мысли и сердце. Никогда, совершенно нет времени... Но Пушкин сидит и упорно делает выписки из толстого фолианта», — писал в 1974 году историк, пушкинист Натан Эйдельман, констатируя неслучайность обращения Пушкина к данной теме. То же подчеркивает наш современник Василий Голованов: «В 1836 году, а уж тем более в 1837-м ничего «случайного» Пушкин не мог делать».

И тем не менее эти наброски надолго остались в тени. Последний из камчатских отрывков был опубликован литературоведом Сергеем Бонди лишь в 1933 году, на чем изучение данных текстов, как пишет Эйдельман, почти остановилось: специалисты при

всем уважении и интересе к Пушкину не видели резона углубляться в контекст. Действительно, наброски, о которых идет речь, по большей части не оригинальные пушкинские тексты, а выписки из вышеназванного сочинения Крашенинникова. Однако считать их не более чем конспектом, доказывает Эйдельман, — неверно. В них присутствует не только крашенинниковское, но и пушкинское; они перерастают в прозаические наброски, да и сам отбор фактов из толстого труда Крашенинникова выдает авторскую оптику Пушкина.

Не только в крашенинниковские, но и в пушкинские времена у России еще не было ни Приамурья, ни Приморья — эти территории вошли в состав империи лишь к середине XIX века. Российский Дальний Восток тогда точнее было бы называть Дальним Севером: это была ось Якутск — Охотск — Камчатка — Чукотка — и дальше в Америку, через Аляску вплоть до северной Калифорнии, где в 1812 году была основана русская крепость Росс. Термина «Дальний Восток» тогда еще не было. Вплоть до начала XX века все гигантское Зауралье называли Сибирью (а за границей нередко называют до сих пор, из-за чего бытуют такие, например, термины, как *Siberian tiger* — тигр, которого у нас зовут амурским или уссурийским; вот и джек-лондоновские браконьеры бьют котиков «у берегов Сибири» — в районе той же Камчатки и Командорских островов).

«О Камчатской земле издавна были известия, однако по большей части такие, по которым одно то знать можно было, что сия земля есть в свете; а какое ее положение, какое состояние, какие жители и прочая, о том ничего подлинного нигде не находилось», — так Крашенинников начинает свой труд. К зиме 1836–1837 годов, когда этой темой вплотную занялся Пушкин, многое изменилось, но и тогда мало кто представлял себе отчетливо, что такое Камчатка. Этот уже достаточно давно присоединенный к России край еще предстояло не только глубоко изучить и вполне освоить экономически и административно, но и осмыслить, прописать в пространстве русской культуры. Пушкин, к тому времени уже побывавший на кавказском, черноморском и бессарабском фронтах империи, в последние недели жизни занялся именно этим, попутно на много лет вперед «пропиарив» книгу Крашенинникова. Невыездной поэт словно столбил крайние точки страны, расширяя и утверждая ее владения.

Равно интересно и то, что Пушкин выписывал из труда Крашенинникова, обозначая свои читательские и потенциальные авторские приоритеты, и то, что он добавлял от себя. В огромном труде Крашенинникова — масса специальных сведений о географии, климате, фауне, флоре, быте, языках и верованиях аборигенов, минералах и т. д. Пушкин выписывает топонимы, сведения об аборигенных народах, упоминает «бобров» — каланов (морская выдра), «огнеды-

шацие горы» (вулканы), мифического ворона Кутха, медведей, лососей... Но куда больше, чем природа, этнография и прочая экзотика, Пушкина интересовало освоение Камчатки русскими казаками, отношения наших «пионеров» и наших «индейцев», а также, что показательно, особенности местной экономики. Из первых, «естествоиспытательских» разделов крашенинниковского труда Пушкин выписал сравнительно немного. В основном он сконцентрировался на последней, четвертой части книги — «О покорении Камчатки, о бывших в разные времена бунтах и изменах и о нынешнем состоянии российских острогов». Это говорит, во-первых, о том, что Пушкин внимательно дочитал пространное сочинение Крашенинникова до конца, во-вторых, о том, что его интересовал в первую очередь именно процесс присоединения нового края к России, его колонизации и освоения, а не география, ботаника и прочая местная экзотика сами по себе.

Пушкина, в частности, занимал «Федот Кочешник» — холмогорский уроженец Федот Алексеев Попов (?–1648), вместе с Семеном Дежневым прошедший из Северного Ледовитого океана в Тихий и открывший пролив между Азией и Америкой, позже названный именем Беринга. Попов, первым из русских посетивший Камчатку, был убит коряками при попытке их *объясачить* (по другой версии, умер от цинги); Александр Сергеевич величает его Федотом I, как монарха. Очень интересовала Пушкина и фигура «завоевателя Камчатки» устюжанина Владимира Атласова (ок. 1661–1711), а также его последователей — тех, кто пришел на Камчатку утверждать российскую власть.

Конфликты и даже настоящие сражения между казаками и аборигенами происходили тогда постоянно, о чем Крашенинников пишет весьма подробно и в красках. Вот происходит бунт камчадалов, которые сожгли острог и «побили» казаков. Тогда власть возвращает на Камчатку попавшего было в опалу Атласова и велит «обид никому не чинить и противу *иноземцев* строгости не употреблять, коли можно обойтись ласкою»; однако отряд из 70 казаков во главе с Иваном Таратиным, посланный Атласовым для наказания убийц ясачных сборщиков, был вынужден принять бой с воинством, состоявшим из 800 камчадалов, и кровопролитие возобновилось. Вооруженное противостояние казаков и коренных обитателей Камчатки продолжалось достаточно долго. «Дикарей убито и потоплено столько, что Большая река запрудилась их трупами»; «Все казаки с женами и детьми были перерезаны»; «Все камчадалы погибли, не спаслись и те, которые сдались. Ожесточенные казаки всех перекололи...» — подобные цитаты встречаются у Крашенинникова десятками. Долгая, тяжелая, кровавая история; беспощадная, но не бессмысленная.

Вот только что мы с вами об этом знаем, если на эту тему не написано романов и не снято фильмов?

Камчатские сюжеты, как нетрудно заметить, сливаются с двумя другими ключевыми в представлении Пушкина темами русской национальной истории — Петровской эпохой и казацкой вольницей. Вот взбунтовались уже сами казаки, недовольные суровостью Атласова, и посадили его в *казенку* (тюрьму). В какой-то момент на Камчатке находилось сразу трое конкурирующих между собой представителей государственной власти: бежавший из-под замка Атласов и вновь присланные Чириков и Миронов. Последний сразу был «зарезан от казаков», Чирикову дали время покаяться, после чего «бросили скованного в пролуб»; Атласова казаки зарезали сляпшим. «Так погиб камчатский Ермак!» — восклицает о гибели Атласова Пушкин, самой этой параллелью с покорителем Сибири Ермаком Тимофеевичем (1532–1585) устанавливая для описываемых событий подобающий, в его представлении, исторический масштаб. Кстати, делами Ермака Пушкин тоже интересовался не случайно. Евгений Баратынский писал ему еще в 1826 году: «Мне пишут, что ты затеваешь новую поэму Ермака. Предмет истинно поэтический, достойный тебя... Благослови тебя бог и укрепи мышцы твои на великий подвиг».

Считается, что на основе трудов Крашенинникова Пушкин готовил для журнала «Современник» статью о покорении Камчатки. Вот ее возможное начало, сохранившееся в бумагах поэта: «Завоевание Сибири постепенно совершалось. Уже все от Лены до Анадыри реки, впадающие в Ледовитое море, были открыты казаками, и дикие племена, живущие на их берегах или кочующие по тундрам северным, были уже покорены смелыми сподвижниками Ермака. Вызвались смельчаки, сквозь неимоверные препятствия и опасности устремлявшиеся посреди враждебных диких племен, приводили их под высокую царскую руку, налагали на их ясак и бесстрашно селились между ними в своих жалких острожках...»

Не исключено, что у Пушкина имелся замысел и художественного произведения (как обращение к восстанию Емельяна Пугачева породило и документальную «Историю Пугачевского бунта», и роман «Капитанская дочка»). Порой его выписки из книги Крашенинникова о деталях камчадалского быта и местном колорите перерастают в прозаические наброски: «Камчатка — страна печальная, гористая, влажная. Ветры почти беспрестанные обвевают ее. Снега не тают на высоких горах. Снега выпадают на 3 сажени глубины и лежат на ней почти 8 месяцев. Ветры и морозы убивают снега; весеннее солнце отражается на их гладкой поверхности и причиняет несносную боль глазам. Настает лето. Камчатка, от наводнения освобожденная, являет скоро великую силу растительности; но в начале августа

уже показывается иней и начинаются морозы». Уже первый пушкинист Павел Анненков (1813–1887) догадывался: Пушкин делал камчатские выписки «для будущего художественного воспроизведения казацких подвигов и правительственных распоряжений в этой земле». Но, к сожалению, все эти наброски оборваны на полуслове пулей Дантеса.

Символичным кажется то, что работу Пушкина над его дальневосточным замыслом прервала именно французская пуля. Ведь и за свои восточные рубежи России в XIX веке приходилось соперничать не с Азией, а в первую очередь с Европой. Приморские берега еще до основания Владивостока описали англичане, в 1854 году адмиралу Василию Завойко пришлось оборонять Камчатку от англо-французской эскадры. Не приди сюда Россия — и на этих тихоокеанских берегах вместо Владивостока могли бы появиться европейские колонии, как они появились несколько южнее, в Китае: английский порт Гонконг, немецкий Циндао, португальский Макао и так далее.

Помимо равнодушия к отечественной истории, у Пушкина имелись причины глубоко личного характера для того, чтобы интересоваться Восточной Сибирью. Его дальний родственник Василий Никитич Пушкин в 1644 году был назначен воеводой в Якутск. К месту новой службы прибыл из-за логистических особенностей, свойственных эпохе и территории, лишь в 1646 году, после чего фактически пробыл в этой должности еще около трех лет.

Один из лицейских близких товарищей Пушкина, Федор Матюшкин, в 1820 году в чине мичмана отправился на Ледовитое побережье исследовать *terra incognita* — местность от устья Индигирки в Якутии до Колочинской губы на Чукотке — в составе экспедиции лейтенанта Фердинанда Врангеля (впоследствии оба дослужились до адмиральских эполет, а Врангель в 1855–1857 годах занимал пост морского министра). Писатель, чукотский классик Юрий Рытхэу (1930–2008) в своей последней книге «Дорожный лексикон» привел историю, слышанную им от легендарного сказителя Нонно: «Дело происходило... на мысе Рыркайпий... Гостями местного, говоря нынешними словами, олигарха Армагиргина были русские путешественники — Фердинанд Врангель и Матюшкин». При свете жирников — светильников, в которых горел тюлений жир, — хозяева и гости давили вшей. Путешественники расспрашивали о «загадочном острове, якобы расположенном строго на север от Рыркайпия». Армагиргин сообщал гостям, что каждую весну к этому острову летят стаи белых гусей, а зимой переправляются песцовые стаи и целые стада диких оленей; более того, там даже «жили люди из племени анкалинов — морских людей». Возмож-

но, речь идет об острове Врангеля, о котором к тому времени русским уже было известно от нескольких путешественников, хотя на картах этот остров утвердился лишь во второй половине XIX века. По другой версии, Армагиргин рассказывал Матюшкину о несуществующем ныне острове, который мы знаем как «Землю Санникова» из одноименного романа геолога, академика Владимира Обручева, опубликованного в 1926 году (обитателей этой земли Обручев называет онкилонами).

Вероятно, именно к будущему адмиралу Матюшкину обращено пушкинское стихотворение «Завидую тебе, питомец моря смелый...», в котором поэт предлагает оставить «берега Европы обветшалою».

Известно также, что Пушкин высоко оценил роман иркутского писателя Ивана Калашникова «Камчадалка».

Более того, поэт и сам стремился поехать за Урал. Когда в 1829 году Министерство иностранных дел России решило отправить на Дальний Восток, в том числе в Китай, большую дипломатическую и научную миссию, ее глава — друг Пушкина, дипломат, востоковед, изобретатель электромагнитного телеграфа Павел Шиллинг — даже внес Александра Сергеевича в число членов экспедиции. Надо сказать, что интерес Пушкина к Китаю был далеко не поверхностным. Он дружил с отцом Иакинфом (в миру Никита Бичурин) — востоковедом, составителем русско-китайского словаря, много лет служившим в Пекине в русской духовной миссии. Рискнул предположить, что даже наш сегодняшний «поворот на восток» в каком-то смысле запрограммировал Пушкин еще в те времена, когда Китай считали «спящим» и «недвижным».

Кроме того, вероятно, по дороге в Китай (через Иркутск) Пушкин рассчитывал увидеться со своими друзьями-декабристами, отбывавшими сибирскую ссылку.

Однако, как сообщает историк Алексей Вольнец, император Николай I не разрешил поэту (уже написавшему стихи «Поедем, я готов...», в которых упомянул «стену далекого Китая») отправиться в этот поход.

С Китаем не вышло; как знать — может, вышло бы с Камчаткой, если бы не Дантес?

Когда Пушкин отправился на последнюю дуэль, на его столе остались лежать камчатские наброски. Проживи он несколько дольше — и мы, вероятно, получили бы шедевр, с которого могла бы начаться большая литература восточного русского фронта. Но вышло так, что Пушкин оставил нам лишь неоконченное предисловие. Фронтиром еще долгое время преимущественно счи-

тали юг и Кавказ, тогда как Дальний Восток пока не воспринимался в качестве полноправной части России. Пожалуй, понимание Дальнего Востока как нового русского фронта пришло только в XX веке, одновременно с новыми угрозами. Русскими киплингками, внимательно глядевшими на восточные рубежи, стали такие авторы, как Сергей Диковский («Патриоты», «Приключения катера “Смелый”») и Константин Симонов («Далеко на востоке», «Товарищи по оружию»). Несколько позже — Юлиан Семенов, начавший свою легендарную штирлицу Владивостоком, Дайреном и Хабаровском, и Александр Проханов, первой горячей точкой которого стал остров Даманский на Уссури.

С другой стороны, восточные устремления Пушкина, вероятно, имели определенное влияние на творчество последующих литераторов, вольно или невольно на него равнявшихся, включая уже упомянутых Гончарова и Чехова — первых классиков главного калибра, добравшихся до Дальнего Востока и написавших о нем.

Они — и еще путешественники, географы, разведчики, тоже умевшие держать в руках перо (Невельской, Венюков, Пржевальский...), — породили первого дальневосточного «гения места» — Владимира Арсеньева (1872–1930). Его книги об Уссурийском крае, в свою очередь, вдохновили Михаила Пришвина на то, чтобы в 1931 году приехать в Приморье, проникнуться этой землей и написать о ней («Женьшень», «Олень-цветок», «Голубые песцы»). Наши очарованные странники при всей их непохожести друг на друга соединены прочнейшей связью, а тексты их полны осознанных и неосознанных перекличек. Своими травелогами они открывали восток России для самой же России, по сути продолжая дело военных, моряков, первопроходцев, ведомых за Урал могучим имперским инстинктом (не только же сободем, как утверждают приземленные американские историки).

Сегодня, в эпоху декларируемого «поворота на Восток», дальневосточная тематика в русской литературе переживает — после длительного провала — очередную негромкий, но очевидный ренессанс, регулярно попадая в поле зрения столь различных авторов, как Леонид Юзефович («Зимняя дорога»), Виктор Ремизов («Воля вольная»), Эдуард Веркин («Остров Сахалин»), Андрей Геласимов («Роза ветров»), Александр Кузнецов-Тулянин («Язычник»), Андрей Рубанов («Штормовое предупреждение»), Михаил Тарковский («Тойота-Креста»), Алексей Коровашко («По следам Дерсу Узала»)… Эстафета не оборвалась. Русский дальневосточный текст продолжает ткаться.